

Ю.Г. Оксман и революция 1917 г.

Научные взгляды и методология выдающегося русского филолога Ю.Г. Оксмана (1895–1970) формировались в предреволюционные и революционные годы. Однако именно этот период его биографии и творчества наименее известен. На основе архивных источников личного происхождения, а также ранних литературоведческих работ показывается, как формировалось восприятие Оксманом революции 1917 г., и выясняется, в какой мере революция повлияла на характер его научных исследований. В статье дается двойное освещение проблемы: ретроспективное, основанное на позднейших мемуарных свидетельствах Оксмана о революции, и синхронное революционным событиям, сохраняющее эффект их непредсказуемости, основанное на его письмах к жене А.П. Оксман 1910-х гг. Показываются философские истоки оксмановской методологии. Ставится проблема «Оксман и формалисты». Научные идеи Оксмана рассматриваются в контексте идеологических и методологических поисков революционной эпохи.

Ключевые слова: Ю.Г. Оксман, революция, филология, формализм, текстология, история.

Весной 1917 г. Юлиан Григорьевич Оксман окончил Петроградский университет. Ему было 22 года. Однако его имя было уже хорошо известно в литературном и филологическом мире Петрограда благодаря плодотворной научной работе, результаты которой уже на протяжении двух лет регулярно появлялись в печати и привлекали к себе внимание научного сообщества. В условиях революционного времени выбор дальнейшего научного, да и жизненного пути во многом зависел от случайного стечения обстоятельств. К сожалению, прямых источников,

свидетельствующих об отношении Оксмана к революции и его политических представлениях 1917 г., у нас нет. Имеются лишь косвенные свидетельства, позволяющие гипотетически реконструировать картину.

Первая группа источников – это научные работы Оксмана, написанные в предреволюционные и революционные годы. Они позволяют судить о становлении его методологии и о его месте в научном сообществе 1910-х гг. Разумеется, из них нельзя извлечь информацию о политических взглядах и пристрастиях их автора. Однако если учесть, что в эти годы в российском литературоведении происходила смена поколений – молодежь, объединившаяся в «Общество по изучению поэтического языка» (ОПОЯЗ), боролась со старыми представителями культурно-исторической школы, – то можно определить место Оксмана в этой борьбе старого и нового, отражавшей революционный перелом культурной эпохи.

Вторая группа свидетельств – это источники личного происхождения. Они делятся на два вида: 1) письма Оксмана, современные революционным событиям, и 2) его мемуарные свидетельства, имеющие ретроспективный характер. Из эпистолярного наследия 1910-х гг., помимо небольшого количества деловых писем и записок, сохранились письма к жене Антонине Петровне Оксман. В них много интересных бытовых подробностей, но очень мало или почти нет прямых политических суждений, раскрывающих отношения автора к революционным событиям. Что касается мемуарных свидетельств, дошедших до нас в виде небольших отрывков или устных высказываний, бережно сохраненных в памяти собеседников позднего Оксмана, то на них, как и на любых ретроспективных оценках и суждениях, лежит отпечаток позднейшего жизненного опыта. У Оксмана это – тяжелый опыт сталинских лагерей, саратовской ссылки, политических преследований 1960-х годов.

О своих детских годах, проведенных в глухом местечке Вознесенске на юго-западной окраине империи, Оксман воспоминал без всякой ностальгии. Сохранившееся автобиографическое начало, открывающееся блоковскими строками (впоследствии зачеркнутыми) – «Рожденные в года глухие // Пути не помнят своего», – строится следующим образом. С одной стороны, Оксман фиксирует собственные детские впечатления и дает их критическое осмысление. С другой стороны, он объясняет свою позднейшую самоидентификацию впечатлениями детства. Затхлая провинциальная атмосфера Вознесенска формировала у ребенка незрелые политические взгляды. Ее неподвижность давала ощущение реальной погруженности в прошлое.

Устные рассказы о прошлом, которые слышал Оксман от своей няни, восходили к 1837 г.¹, когда Николай I присутствовал на больших маневрах под Вознесенском. В семье Оксманов «процветал монархический культ. Мама с благоговением вспоминала посещение Николаевской Мариинской гимназии, в которой она воспитывалась, императором Александром III и его семьей»².

Англо-бурская война (1899–1902), боксерское восстание в Китае (1900) стали первыми сознательными политическими впечатлениями, получившими у пятилетнего Оксмана характер «первых жизненных бравад». Он с иронией вспоминает, как вопреки общественному мнению он не сочувствовал бурям и, наоборот, сочувствовал националистическому движению в Китае, имевшему помимо всего прочего и антироссийскую направленность. При этом он, по собственному признанию, оставался убежденным монархистом, воинствующим националистом и великодержавным шовинистом. Пораженческие настроения, распространявшиеся в русском обществе в годы русско-японской войны, юный Оксман оценивал «как личное оскорбление, как удары по самому близкому и дорогому»³. Начало своего политического созревания Оксман датирует концом 1905 года, видимо, имея в виду серию декабрьских вооруженных восстаний, прокатившихся по стране. Однако речь идет не об усвоении позитивных политических идей, а всего лишь об избавлении от детских «иллюзий незыблемости гражданского мира и надклассовости всех органов государственной власти»⁴.

Приезд в Петербург в 1911 г., поступление на историко-филологический факультет Петербургского университета, арест за участие в студенческих беспорядках, потом год учебы в Гейдельбергском и Боннском университетах – все это быстро расширило и изменило мировоззрение Оксмана. «В голове моей, – вспоминал он, – была смесь разнообразных идей. С одной стороны, мы считали себя революционерами и победоносно, как на обреченных, поглядывали на столпов старого мира; в то же время заветным моим мечтанием было к столетию со дня смерти Александра I написать такую биографию царя, чтобы получить *Аракчеевскую премию* (умирая, “змий” завещал весь свой капитал с большими процентами тому, кто это сделает к 1925 году)»⁵.

Революция и Гражданская война прошли по семье Оксманов, разделив ее на два лагеря, что, впрочем, не сказалось на человеческих отношениях членов семьи, оказавшихся по разные стороны баррикад. Средний брат Николай (1896–1932), «родившийся в год Ходынки, в честь нового царя назван был Николаем». Герой Пер-

вой мировой войны, награжденный пятью георгиевскими крестами, он с юности был увлечен марксизмом, и в июле 1917 г. перешел на сторону большевиков. После Октября сделал блестящую карьеру: командовал фронтом на Кавказе, руководил ЧК во Владикавказе, затем стал крупным партийным функционером из ближайшего окружения Серго Орджоникидзе и С.М. Кирова. Младший же брат Эммануил (1899–1961) в 1914 г. бежал за братом на фронт, но по малолетству был возвращен родителям. Революцию он встретил студентом Киевского университета. В 1919 г. был мобилизован в армию Деникина. Когда их часть перебрасывали под Царицын, в поезде он неожиданно встретился с братом Николаем, который, переодетый в форму белого офицера, пробирался к «своим» на Кавказ. Братья «не узнали» друг друга. Впоследствии этот эпизод, рассказанный Юлианом Григорьевичем Алексею Толстому, послужил источником сцены встречи Рощина и Телегина в трилогии «Хождение по мукам»⁶.

Сам Ю. Оксман разделял революционные устремления эпохи, но вряд ли они имели у него столь же четкую политическую осознанность, как у его брата Николая, который «с ранней юности увлекался социальными идеями, читал марксистскую литературу»⁷. 19 декабря 1955 г. на лекции, посвященной памяти Блока, прочитанной в Саратовском университете, Оксман вспоминал о событиях 1916 г.: «Мы все тогда перестали заниматься наукой. Думали, бредили революцией. Руководства тогда не было даже у большевиков. Ленин далеко. Петроград обезлюдел. Мы строили свои химеры»⁸. Таким образом, ретроспективно выстраивается картина: незрелые монархические взгляды под воздействием революции 1905 г. превращаются в революционные «химеры». Этим явно подчеркивается отсутствие последовательных политических идей и скорее эмоциональное, чем глубоко осмысленное, принятие революции.

Но какие бы политические фантомы ни будоражили воображение юного Оксмана, его никогда не покидало ощущение кровной связи с Россией XIX века, ее культурой и государственностью: «Россия являлась для меня не отвлеченным историко-географическим понятием, а живым и действенным государственным организмом, частью которого я никогда не переставал себя кровно и с гордостью ощущать»⁹. Сохранившиеся письма Оксмана 1910-х гг. существенно дополняют эту общую ретроспективную картину, насыщая ее массой бытовых подробностей и дополняя моментами выбора и непредсказуемости, с которыми неизбежно сталкивается человек, смотрящий в будущее.

Позднейшее признание Оксмана, что в предреволюционные годы он забросил науку и бредил революцией, не получает подтверждения в его письмах. Напротив, 1915, 1916 и 1917 гг. – время интенсивных научных и учебных занятий и серьезных размышлений. Он выступает с докладами на Венгеровском семинаре, посещает поэтические вечера и «профессорские блины». «Таково, – пишет он Антонине Петровне 7 февраля 1915 г., – “настоящее”, программа “будущего”, бесконечная, вплоть до мая, работа, частью интересная, а больше – учебная. Теперь сижу над Белинским: обещал сделать доклад в понедельник, но не успею. К 23 нужно кончить реферат библиографический, а там – Летопись для печати¹⁰, “Московский вестник” – для сборника. Самое гадкое – экзамены под конец»¹¹. А через два месяца, 10 апреля: «На прошлой неделе решил заниматься: вернулся и к науке и к экзаменам. Усиленно принялся за «Моск<овский> вестник» для Биб<лиографического> сборника, прочел доклад “Пушкин и Полежаев”, выдержал 2 экзамена и вообще закружился в своем археологическом водовороте»¹².

Летом 1917 г. по окончании университета Оксман едет в Тирасполь. Провинциальная жизнь прифронтового городка производит на него удручающее впечатление: «...безлюдье, обывательщина и полнейшее непонимание азбучных истин. Представление о политических событиях достойно “Сатирикона”... Так стыдно, Тосенька, за “глубину России”, так понятен развал фронта, безумие людей, у которых нет родины, которые живут только животными инстинктами»¹³. Тираспольский быт располагал к чтению и размышлениям. В этот период Оксмана особенно интересует Франция. С большим интересом он читает французскую публицистику Гейне, а также романы Бальзака и Ж.Б. Луве де Кувре. Чтение этих авторов формировали у Оксмана в разгар революционной поры широту взглядов и, как следствие, нежелание связывать себя с какой-либо из партий: «Всякая узость мне противна не менее чем тебе, стремления к полноте жизни и веры в интерес – во мне даже больше, я не тягочусь самим собою и мелочи жизни давно не отвлекают меня, не потому что я не замечаю их, а от того, что хорошо знаю им цену»¹⁴. «Мелочами жизни» Оксман называет революционную разруху: «В Петербурге теперь очень беспокойно – события под Ригой, голод, безработица, надвигающаяся ежеминутно, грозят новым переворотом. Жить невыносимо трудно – кроме хлеба, который получаю по карточке, я ничего не видел даже съестного, кроме овощей». И хотя «настроение у всех подавленное», полный энергии Оксман погружен в привычную для него работу, дающую ощущение непрерывающейся жизни: «Везде идет прежним

темпом работа, и жизнь ни на минуту не прекращается. Знаешь, родненькая, это очень успокаивает, значит не все еще потеряно, если энергия у людей не утрачена до конца, если в этой атмосфере еще действуют законы инерции»¹⁵. Это письмо, датированное 23 августа 1917 г., писалось в один из напряженнейших моментов. За два дня до этого немцы взяли Ригу. Над Петроградом нависла угроза, генерал Л.Г. Корнилов пытался исправить ситуацию путем государственного переворота и установления военной диктатуры. «Этот месяц будет решающим, и после сентября определится многое...», – писал Оксман в этом же письме. Законы жизненной инерции и возможность продолжать работу позволяют Оксману сохранять сторонний взгляд на происходящие события. Он полностью уходит в архивную деятельность: «Я даже по праздникам целый день сижу у себя в архиве – все-таки отвлечение, пришлось одному справляться с массой дел, руководить перевозкой, двадцатью сотрудниками, десятками служителей, придумывать новые методы и писать проекты дальнейшего направления работы и т. п.»¹⁶.

Научные исследования Оксмана шли в нескольких направлениях, и какое из них станет приоритетным, зависело не только от личных пристрастий ученого, но и от внешних обстоятельств, созданных революцией. В 1950–1960-е гг. Оксман неоднократно в своих письмах и автобиографических заметках обращался к истокам своих научных идей. Внешнюю сторону их формирования составляли немецкие университеты и интерес к европейскому средневековью, затем возвращение в Россию и учеба в Петербургском университете сразу по двум направлениям: филология и история. Русская филология в предреволюционные и революционные годы переживала состояние расцвета и многообразия научных направлений. А.А. Шахматов совершил революцию в области древнерусской текстологии, И.А. Шляпкин заложил научные основы отечественной палеографии, Н.М. Лисовский фактически создал новую научную дисциплину – книговедение. Бурное развитие вспомогательных исторических дисциплин соседствовало с поисками новых методологических путей. Особенно органично это сочеталось в знаменитом пушкинском семинаре С.А. Венгерова. Профессор С.А. Венгеров – непревзойденный знаток библиографии и биографий русских писателей – хоть и не разделял сам, но поощрял в своих учениках интерес к формальной стороне организации текста. Его семинар стал питомником русского формализма¹⁷.

С формалистами Оксмана связывали не только общие учителя и личные отношения. Если говорить о внутренней стороне

оксмановского научного формирования – философских основах его научной методологии, то и здесь обнаруживается немало общего с будущими членами ОПОЯЗа. Их объединял интерес к неокантианству и неприятие материалистической эстетики второй половины XIX – начала XX в. «Лекции и книги проф. А.И. Введенского, – вспоминал Оксман, – проповедовали неокантианство, а потому почти все студенты-филологи были яркими противниками вульгарного материализма, господствовавшего в естествознании начала десятых годов XX в. едва ли не столь же безраздельно, как полвека назад. Содер<жание> новой философии мы знали по Виндельбанду и косо смотрели на тех, кто придерживался Паульсена, Маха и Авенариуса. “Науки о духе”, вслед за Дильтеем и Риккертом (и того и другого мы знали только понаслышке), мы противопоставляли наукам естественным, где еще полностью господствовал материализм 60-х годов...». Вывод, который следовал из этого противопоставления, состоял в том, что «в науках о духе не может быть закономерностей, так как изучается единственное, неповторимое, в естест<венных> науках – массовое»¹⁸.

Провокационную роль сыграло появление в 1913 г. первого тома сочинений А.Н. Веселовского: «Начальные строки его статьи “Из введения в истор<ическую>. поэтику” прозвучали как набат, как сигнал бедствия, как SOS: “История литературы напоминает географич<ескую> полосу, которую международное право освятило как *res nullius*, куда заходят охотиться историк культуры и эстетик, эрудит и исследов<атель> обществ<енных> идей, каждый выносит из нее то, что может по способностям и возможностям, с той же этикеткой на товаре или добыче, далеко не одинаковой по содержанию, относительно нормы не сговорились, иначе не возвратились бы так настоятельно к вопросу: что такое история литературы?”». Ответом на этот вызов стал формализм, занявшийся поисками для литературы ее собственной «географии». Но «формализм, – продолжает Оксман, – удовлетворял далеко не всех. Более близкая самому Веселовскому – “история литературы” есть “история обществ<енной> мысли в образно-поэтич<еском> переживании и выражающих его формулах»¹⁹. Далее Оксман ставит вопрос о Потебне («А Потебня?»).

Здесь, возможно, по ассоциации, Оксман вспомнил раннюю работу Виктора Шкловского «Потебня», написанную в 1916 г. и открывавшую один из «Сборников по теории поэтического языка»²⁰. Потебня, как и Веселовский, противопоставлял идею – «то, что хотел сказать художник» внутренней форме – образу – и внешней форме – словам²¹. Правда, в отличие от Веселовского, считавшего

литературу лишь одним из проявлений общественной мысли, Потебня видел в ней в первую очередь то, что выделяет ее на фоне других, непоэтических, явлений языка. Возражение Шкловского, а за ним и других формалистов вызвало отождествление поэтичности и образности. Этому теоретическому постулату Шкловский противопоставил эмпирическое противопоставление «прозаического» и «поэтического» языков. «Создание научной поэтики, – писал он, – должно быть начато с фактического, на массовых фактах построенного, признания, что существует “прозаический” и “поэтический” языки, законы которых различны, и с анализа этих различий»²².

Оксману, безусловно, импонировал интерес формалистов к «массовым фактам», к стремлению строить теорию на эмпирическом материале, а не философских идеях. Но их установка на элиминирование литературы из других рядов общественной мысли не могла его удовлетворить. И тем не менее Оксман считал, что именно с ОПОЯЗа начинается советское литературоведение: «В 1916 г. вышел первый выпуск “Сборников по теории поэтического языка”. Статьи Виктора и Владимира Шкловских, Л. Якубовича, Е.Д. Поливанова, Б.А. Кушнера. Здесь зародилось и советское литератур<оведение> и пушкиновед<ение> и текстология и источниковедение»²³. Эта фраза, написанная примерно в середине 1960-х годов, насквозь полемична. Она направлена не только против официального советского литературоведения, вычеркнувшего формализм из своей истории, но и против Виктора Шкловского, который в выпущенной в 1964 г. книге «Жили-были» с точки зрения Оксмана искажил историю ОПОЯЗа, выбросив из нее имя Якобсона и не упомянув имени Оксмана²⁴. Полемично и то, что зарождение советского литературоведения Оксман относит не к советской эпохе, и генезис его видит не в марксизме, и даже не в культурно-исторической школе, как это официально было признано, а в первом выпуске трудов ОПОЯЗа.

Конечно, говоря об ОПОЯЗе, Оксман имеет в виду не формализм в узком значении этого слова как парадигму теоретических представлений о литературе, а скорее молодёжную филологическую среду Петроградского университета предреволюционных лет в целом. ОПОЯЗ в данном случае является удобным символом для ее выражения, так как он включал в себя не просто начинающих исследователей с общими для всех них представлениями о литературе, а яркие научные индивидуальности, оставившие след в различных областях отечественной филологии, включая историю литературы, текстологию, источниковедение и т. д.

Но это была ретроспективная точка зрения. Разумеется, в 1916 г. начинающему исследователю и еще студенту Оксману ситуация представлялась иной. Она виделась ему как разнообразие открывшихся перед ним путей научной карьеры. Первый путь, берущий начало в венгеровском семинаре, для Оксмана связан был с изучением пушкинской рецепции европейских сюжетов и мотивов. Его первая печатная работа «Программа драмы А.С. Пушкина о папессе Иоанне»²⁵, представляющая собой доклад, прочитанный на семинаре, имела огромный успех и сразу же сделала его имя известным в петроградском научном мире²⁶. В этой статье Оксман объединил свои интересы к средневековью и пушкинскому творчеству. Его исследование представляет собой реконструкцию пушкинского замысла, проведенную на основе широкого круга европейских источников и пушкинских текстов.

Если интерес молодого Оксмана к теме «Пушкин и европейская культура» не был напрямую связан с революцией, то второе направление его научной деятельности – архивная и публикационная работа – были во многом обусловлены именно революцией, хотя начало ее также относится к дореволюционным годам. К архивным разысканиям Оксман приступил еще в 1914 г. по заданию своих университетских преподавателей. Уже на следующий год С.Ф. Платонов предложил ему внештатную должность научного сотрудника комиссии по описанию Архива Министерства Народного Просвещения. Весной–летом 1917 г. Оксману предстояло сделать выбор между университетской кафедрой и архивом. Прикрепление к кафедре давало возможность получить «отсрочку от воинской повинности», но, видимо, не очень привлекало Оксмана. Это видно из того, что он буквально в последний момент, когда уже получил предписание «явиться к воинскому начальству», оправдываясь «собственной беспечностью», обратился к Шляпкину с просьбой оставить его при кафедре²⁷. 20 мая 1917 г. Оксман был оставлен при кафедре для подготовки к профессорскому званию, что не помешало ему 1 июня поступить штатным «помощником начальника Архива». Одновременно он был назначен чиновником особых поручений при министре народного просвещения²⁸.

Октябрьский переворот практически никак не сказался на архивной работе Ю.Г. Оксмана. Большевицкое правительство поддержало его публикаторскую работу. В мае 1966 г., выступая на юбилее ЦГАЛИ, Оксман вспомнил начало своей архивной работы: «Когда А.В. Луначарский познакомился с архивными материалами, находящимися в подвале, он потребовал возможно скорее подготовить их к печати. И тогда было решено издать первый

советский альманах «Литературный музей». Это название и тогда странно звучало. Сборник печатался два года: начал он печататься в 1918 году, закончил печататься в 1919 году, а поступил в продажу в 1921 году. Это первый сборник, в котором начиналась моя публикаторская работа. Тогда первый комиссар по делам печати Володарский, этот замечательный деятель Октябрьской революции²⁹, с большим сочувствием отнесся к этому делу»³⁰.

Тогда же, в 1918 г., получив одобрение большевиков, Оксман задумал широкую реорганизацию архивного дела. Он планировал создание единого цензурного архива, в который должны были войти «все разбросанные во многих еще местах цензурные дела», а также открыть при таком архиве «специальную цензурную библиотеку. В эту библиотеку должны влиться все книги, которых касалась рука цензора: архивное дело, оторванное от цензурированной книги, неполно»³¹.

Работа Оксмана с делами цензурного комитета открыла новую перспективу изучения текстов русской классики и истории русской литературы в целом. Даже его товарищи по венгеровскому семинару и формалисты исходили из представления о тексте как о чем-то изначально данном. Текстологическая работа, по сути, сводилась к чтению рукописей, а прижизненные публикации почти автоматически признавались выражением авторской воли. Для Оксмана текст, прошедший цензуру, как правило, имел уже повреждения, вызванные внешним вмешательством, и его публикация не выражала или выражала не полностью авторскую волю. Под цензурой Оксман понимал не только соответствующее учреждение, но и так называемую автоцензуру, когда автор сознательно идет на компромисс, чтобы сделать текст приемлемым для цензора. В этом случае авторская воля также находится под внешним воздействием. И даже для произведений «неподцензурной» литературы, распространяемых в XIX в. в списках, понятие «окончательный текст» весьма условно, прежде всего из-за множества случайных и неслучайных искажений, вносимых переписчиками.

Таким образом, текстолог погружен в мир испорченных текстов. Текст – это не то, из чего нужно исходить, а то, в чем нужно сомневаться. Поскольку искажения зависят от массы факторов и в целом имеют случайный характер, то и текстология, строго говоря, изучает не закономерные процессы, а случайные явления, и в этом отношении, как считал Оксман, она не является наукой, так как «не отвечает основному критерию, определяющему сущность той или иной самостоятельной научной дисциплины, не вскрывает объективные законы развития природы или общества, не изучает

объективно-истор<ических> закономерностей»³². Текстологи – не просто ученые, располагающие соответствующим инструментарием, а «люди большого опыта, достигшие в своей личной практике предельного мастерства, ювелирной техники работы»³³.

И хотя формально текстология относится к вспомогательным дисциплинам, для Оксмана она имела большое общественное значение, так как ее результаты предлагались широкому кругу читателей в виде выверенных и точно воспроизводимых литературных текстов. Именно в этой сфере Оксман сумел органично соединить свой общественный темперамент с научным мастерством. В разгар революционной разрухи в предисловии к «Российскому музеуму» Оксман совершенно искренне выражал уверенность, «что идея издать в свое время погибшее в недрах цензурного ведомства, и переиздать то, что было искалечено цензурской рукою, – встретит горячее сочувствие как государства, так и общества»³⁴.

Свою общественную роль как текстолога и историка Оксман видел не в пассивном изучении текстов и событий прошлого, а в активном противостоянии «тиранам» и «палачам»: «Текстолог, как и историк, исправляет “ошибки истории” – творит суд и расправу, – всех ставит на свои места, потому что в жизни действ<ительной> кажущиеся победы, пирровы победы одержив<ают> тираны, пред историей – побеждает Никон, а не деспот, не палач»³⁵.

Взгляд на русскую литературу из цензурного архива определил литературоведческие и историографические предпочтения Оксмана: «Есть целый ряд писателей, публицистов, политических деятелей, творчество которых было систематически пожираемо цензурным ведомством: произведение или совсем не выходило в свет или выходило в искалеченном виде. По архивным же делам в настоящее время возможно реставрировать то, что в свое время не могло увидеть свет или увидело свет не так, как это было задумано автором»³⁶. Эти литераторы, ставившие в своем творчестве общественные и политические проблемы, интересовали Оксмана не только как жертвы цензурного ведомства, в отношении которых он своим долгом считал восстановить текстологическую справедливость. Их творчество потому и наталкивалось на «умственные плотины», что наиболее полно и остро ставило современные им общественные вопросы. В письме к жене из лагеря Оксман писал: «Маяковский оказался и большим человеком и человеком, кровно связанным со своей эпохой, тысячами нитей закрепленным в каждом году первого двадцатипятилетия XX века. Поэтому к нему так же, как и к Пушкину, очень оказалось удобным пристраивать и исторические и литературные и бытовые материалы об огромном

по своей значимости отрезке времени с 1905 по 1930 г. К писателям кабинетного стиля таких дорог не проложить, ибо от них самих никуда не уйти. Дело не в масштабах таланта, а в широте исторического дыхания...»³⁷.

Эту же мысль Оксман публично высказал в упомянутой выше лекции о Блоке, которую он сам в письме к К.П. Богаевской назвал «блистательным докладом». Основная мысль Оксмана заключалась в том, что Блок – один из шести великих русских поэтов (наряду с автором «Слова о полку Игореве», Пушкиным, Лермонтовым, Тютчевым, Некрасовым и Маяковским), «носителей общественного сознания». Им он противопоставил Державина, Жуковского, Батюшкова и Фета, которые «были мастерами и новаторами в области словесного искусства, но не борцами, не чувствовали и не понимали “музыки революции”». При этом Блок «явился первым советским поэтом Октябрьской революции, первым поэтом новой эры в истории человечества. Маяковский идет за Блоком – автором “Двенадцати” – и об этом давно пора сказать во весь голос. Горький, который увидел в “Двенадцати” сатиру на Октябрьскую революцию, показал этим свою контрреволюционную сущность, ибо он этой музыки революции и не почувствовал ни в 1918, ни в последующие 5–6 лет»³⁸. В опубликованном В.М. Селезневым конспекте лекции отсутствуют горьковская оценка поэмы Блока, а также пассаж о «контрреволюционной сущности» буревищика революции. Возможно, Оксман просто не решился воспроизвести эти мысли в аудитории, но очень хотел, чтобы они остались зафиксированы. В первом случае он цитировал запрещенную книгу К. Чуковского «Блок как человек и поэт», не переиздававшуюся с 1924 г.³⁹, а во втором случае также запрещенные в СССР «Несвоевременные мысли» Горького. При всей спорности предложенного деления Оксманом поэтов на откликающихся на общественные вопросы и на сосредоточенных на поэтическом мастерстве, оно отражает реальные тенденции литературного развития России XIX в. Точнее было бы говорить, что в творчестве каждого большого поэта отражаются обе тенденции.

Для Оксмана важно не только противопоставить эти стороны русской поэзии, но и определить собственное отношение к ним. Ученый формировался в период Серебряного века, когда перегородки, разделяющие литературу и науку о ней, практически были сняты. Среди поэтов было немало филологов, а среди филологов – поэтов⁴⁰. Они участвовали в одних и тех же изданиях, входили в одни и те же объединения. Филология считалась такой же частью литературного процесса, как сама литература, а писательское мастерство нередко становилось одним из критериев оценки

литературоведческого труда. Литературный процесс начала XX в. отличался от предшествующего XIX в. большей рефлексией. Во многом этому способствовало развитие русской философии, социологии, психологии и других дисциплин, занимающихся теми вопросами, которые традиционно ставила русская литература и русская литературная критика, отвечающие на социальный заказ⁴¹. Поэтому значение мастерства для создания художественного произведения нередко отодвигалось на второй план перед решением более важных, как тогда казалось, общественных вопросов.

С появлением и развитием в России на рубеже веков новых отраслей гуманитарного знания исследование общественно значимых проблем перераспределялось между литературой, философией, психологией, социологией и т. д. Это, в свою очередь, дало возможность лучше осознать специфику литературного процесса, акцентировать в нем не то, что сближает его с другими рядами интеллектуального пространства, а, наоборот, то, что выделяет на их фоне. Интерес к построению текста, природе слова, феномену поэтического языка объединил и писателей и филологов. Оксман живо реагировал на эти новаторства, но продолжал, по его собственному признанию, ощущать себя человеком XIX века. В духе современных ему представлений он считал, что писатель и филолог являются участниками единого литературного процесса, но в традициях любимого им XIX века видел это соучастие не в решении вопросов художественного мастерства и поэтики, а в постановке общественно важных проблем. Ставя идею произведения выше его формы, Оксман свою задачу видел в том, чтобы донести до читателя идейное содержание в максимально точном виде.

В заключение хотелось бы оспорить широко распространенное мнение о близости литературоведческих трудов Оксмана к так называемому «официальному советскому литературоведению»⁴². Сам Оксман прекрасно осознавал принципиальное различие между собственной методологией и установками официальной науки. Примерно в 1963 г. он писал: «К числу едва ли не самых заброшенных участков советского литературоведения принадлежит изучение массовой агитационно-пропагандистской литературы – от оды “Вольность”, “Деревни” и послания “Чаадаеву” Пушкина до сатирических песенок-агиток Рылеева и Бестужева, и рев<оложонного> Катехизиса С.И. Мур<авьева>-Апостола, от письма Белинского к Гоголю до нелегальных памфлетов Добролюбова и прокламаций Чернышевского и Шелгунова»⁴³.

«Официальная доктрина», «канонизировавшая» имена Пушкина, декабристов, Белинского, Герцена, революционных демократов,

меньше всего интересовалась их текстами. Изучение текстов подменялось цитированием⁴⁴, а выявление всего многообразия связей с эпохой – ретроспективным взглядом на них как на прямых предшественников советской власти. Современных читателей не должна вводить в заблуждение терминология Оксмана, несущая на себе следы революционного языка 1920-х годов, ставшего языком советского литературоведения. Язык, описывающий результаты исследования, не имеет прямого отношения к самому исследованию, он в большей степени обусловлен эпохой, в которую живет автор, чем объектом изучения. Поэтому внешнее терминологическое сходство не может быть доказательством методологической близости.

Противопоставление Оксмана – общественного деятеля и Оксмана-ученого не имеет смысла хотя бы потому, что свою гражданскую роль он видел в занятии наукой, а наука, как и литература, для него всегда были проявлениями общественной жизни. Его письма, выдающееся значение которых ни у кого не вызывает сомнений, являлись возможностью сказать или договорить до конца то, что в условиях советской цензуры он не мог сказать или договорить в своих печатных трудах. Русская литература XIX в. для Оксмана была не просто объектом изучения, но и живым опытом противостояния политическому режиму. Об этом писал его ученик профессор В.В. Пугачев, подчеркивавший родственную связь Оксмана не с советскими «учеными нового типа», а с К.Д. Кавелиным, Т.Н. Грановским, В.О. Ключевским – учеными, которые своими научными трудами, как и большие русские писатели, ставили значимые общественные вопросы⁴⁵.

Почему человек, прошедший лагерь, не ассоциировал тот ужас, с которым он там столкнулся, с революцией и советской властью в целом? Революция открылась перед ним не только своей страшной стороной, но и возможностями для профессиональной самореализации. Молодой возраст, плодотворная научная и организаторская деятельность смягчали удары, наносимые пролетарской диктатурой и гражданской войной. Оксман принадлежал к тому поколению деятелей русской культуры, которые смотрели на революцию глазами Блока и Маяковского и, видя в ней высокую и созидательную трагедию, слушали ее музыку. В письме Виктору Шкловскому от 21 октября 1966 г. он писал: «Ведь ты прав – нас, людей первых десятилетий нового века, понявших “музыку революции” и строивших самоотверженно новую культуру, осталось не более пяти-шести человек, если говорить о петербургском круге писателей и ученых, не учитывая тех, кто гниет на корню или “продал шпагу свою”»⁴⁶.

Что же касается тематики и содержательной стороны научных трудов, то связывать их с влиянием советской идеологии следует с большой осторожностью. Методологические принципы и основная сфера научных интересов Оксмана, как мы видели, сложились раньше утверждения новой идеологии. Сам Оксман видел свои научные корни в ОПОЯЗе и был обижен на Шкловского, который в своих воспоминаниях об ОПОЯЗе не упомянул его имени. Шкловский отвечал: «Ты лучший представитель старой школы. Прежде всего ты историк-литературовед. Вопросы, которыми ты занимаешься, интересны и важны, но для “ОПОЯЗа” в целом не характерны».

В данном случае Шкловский, по сути, прав. ОПОЯЗ для Оксмана – факт личной, а не научной биографии. В научном плане Оксман продолжал и развивал традиции литературоведения конца XIX – начала XX в., т. е. то, против чего выступали формалисты. В этом отношении революция никак не отразилась на его научной методологии. Но именно это органическая связь с дореволюционными академическими традициями сделала Оксмана неприемлемой фигурой для «официального советского литературоведения».

Примечания

- ¹ Для Оксмана-пушкиниста эта дата имеет особый смысл. От года смерти Пушкина к себе Оксман проводит непрерывную линию устной традиции.
- ² РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 5.
- ³ Там же. Л. 5.
- ⁴ Там же.
- ⁵ Цит. по: *Эйдельман Н.Я.* Первый декабрист. М., 1990. С. 162.
- ⁶ *Оксман О.Э.* Семейные хроники: Воспоминания. Одесса: Астропринт, 2008. С. 36.
- ⁷ Там же. С. 35.
- ⁸ Живое в мертвое время: Ю. Оксман. Памяти Александра Блока / Предисл., подгот. текста и примеч. В. Селезнева // Вопросы литературы. 2009. № 1. С. 341. См. также: *Богомолов Н.* О тиражировании легенд, а попутно и о текстологии // Новое литературное обозрение. 2009. № 97. [Электронный ресурс] URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2009/97/bo32.html> (дата обращения: 24.06.2017).
- ⁹ РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 4.
- ¹⁰ Имеется в виду: *Летопись жизни Белинского* / Сост. Н.Ф. Бельчиков, П.Е. Будков, Ю.Г. Оксман. М., 1924.
- ¹¹ РГАЛИ. Ед. хр. 212. Л. 10.

- ¹² Там же. Л. 11.
- ¹³ Там же. Л. 22.
- ¹⁴ Там же. Л. 20.
- ¹⁵ Там же. Л. 24.
- ¹⁶ Там же. Л. 25.
- ¹⁷ Подробнее об этом см.: *Депретто К.* Формализм в России: Предшественники. История. Контекст. М., 2015. С. 48–61.
- ¹⁸ РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 14.
- ¹⁹ Там же. Л. 20. См. также: *Якобсон Р.О.* Формальная школа и современное русское литературоведение. М., 2011.
- ²⁰ *Шкловский В.* Потебня // Поэтика: Сборники по теории поэтического языка. Вып. 1–2. Пг., 1919. С. 3–6.
- ²¹ Там же. С. 4.
- ²² Там же. С. 6.
- ²³ РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 20.
- ²⁴ См.: Из переписки Юлиана Оксмана и Виктора Шкловского / Публ. А.В. Громова // Звезда. 1990. № 8. С. 140; *Краснов Г.В.* Две лекции Ю.Г. Оксмана об ОПОЯЗе // Юлиан Григорьевич Оксман в Саратове. Саратов, 1999. С. 53–55.
- ²⁵ *Оксман Ю.Г.* Программа драмы А.С. Пушкина о папессе Иоанне: (К истории недовершенного замысла) // Пушкинист: историко-литературный сборник: В 4 вып. / Под ред. С.А. Венгерова. Вып. 2. Пг., 1916. С. 258–268. Формально это была вторая публикация Оксмана, но написана и сдана в печать она была раньше вышедшей в 1915 г. его статьи: *Оксман Ю.Г.* К вопросу о дате стихов Пушкина о старом дожде и догарессе молодой // Русский библиофил. 1915. № 3. С. 90–94.
- ²⁶ Среди множества положительных откликов (РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 1428) Оксман особенно ценил отзыв В.Я. Брюсова (см.: Известия Московского литературно-художественного кружка. Вып. 14–15. М., 1916. С. 79–82), отметившего «дельную заметку Ю. Оксмана» (РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 61).
- ²⁷ «Искренне Ваш Юл. Оксман»: (Письма 1914–1970 годов) // Русская литература. 2003. № 3. С. 144.
- ²⁸ Министром народного просвещения в то время был А.А. Мануйлов, затем в июне его сменил С.Ф. Ольденбург, а в сентябре – С.С. Салазкин. Большевиком наркомом просвещения, с которым Оксман имел дело, был А.В. Луначарский. См.: *Пугачев В.В., Динес В.А.* «А все-таки она вертится» // Проблемы истории культуры, литературы, социально-экономической мысли: Межвузовский науч. сб. Вып. 5. Ч. 2. Саратов, 1989. С. 37–38.
- ²⁹ Характерно, что «этот замечательный деятель», сочувствующий усилиям Оксмана по разоблачению «тайн» дореволюционной цензуры, сам явился родоначальником большевистской цензуры, значительно более строгой, чем

царская. Можно только удивляться, как Оксман, испытавший на себе в полной мере всю тяжесть советской цензуры, сохранил благодарную память в отношении ее основателя. Впрочем, живое общение нередко оставляет в памяти облик человека, отличный от его исторической репутации.

30 Цит. по: *Зайцев А.Д.* «Человек жизнерадостный и жизнедеятельный...»: (набросок портрета Ю.Г. Оксмана по материалам его архива) // Встречи с прошлым. Вып. 7. М.: Советская Россия, 1990. С. 566.

31 Литературный музей (Цензурные материалы Государственного архивного фонда) / Под ред. А.С. Николаева, Ю.Г. Оксмана. Пб., [1921] [С. 2–3].

32 РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 130. Л. 14.

33 Там же. Л. 10б. О текстологических принципах самого Оксмана см.: *Фролов М.А.* Проблемы текстологии в научном наследии Ю.Г. Оксмана: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2013.

34 Российский музей. Пг., 1919. [С. 5].

35 РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 15.

36 Российский музей... [С. 4].

37 РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 213. Л. 12–12об.

38 *Богоевская К.П.* Возвращение. О Юлиане Григорьевиче Оксмани / Вступ. заметка и прим. И.Д. Прохоровой // Литературное обозрение. 1990. № 4. С. 109.

39 Ср.: «Однажды Горький сказал ему, что считает его поэму сатирой. “Эта самая злая сатира на все, что происходило в те дни”» (*Чуковский К.* Александр Блок как человек и поэт: Введение в поэзию Блока. М., 2010. С. 49).

40 Об этом см.: *Депретто К.* Указ. соч. С. 57 и сл. Ср. слова Оксмана о Блоке, который, по его словам, «близок нам как поэт-филолог по мастерству, по широте интересов. Теоретик, критик, литературовед» (*Живое в мертвое время.* Ю. Оксман. Памяти Александра Блока / Предисл., подгот. текста и примеч. В. Селезнева // Вопросы литературы. 2009. № 1. С. 344).

41 Ср.: *Яacobson P.O.* Формальная школа и современное русское литературоведение. М., 2011. С. 38–39.

42 См., например: *Тодес Е.А., Чудакова М.О.* Указ. соч. С. 114.

43 РГАЛИ. Ф. 2567. Оп. 1. Ед. хр. 179. Л. 12.

44 Цитатный метод раздражал Оксмана, видевшего в нем проявление конъюнктуры. В этом он упрекал Виктора Шкловского: «Неужели ты сам не чувствуешь, что Добролюбов и Чернышевский, Чернышевский и Добролюбов – в таких пропорциях, [какими?] ты угощаешь читателя, невыносимы» (Из переписки Юлиана Оксмана и Виктора Шкловского // Звезда. 1990. № 8. С. 130).

45 См.: *Пугачев В.В., Динес В.А.* Историки, избравшие путь Галилея: Статьи, очерки. Саратов, 1995. С. 21, 31.

46 Из переписки Юлиана Оксмана и Виктора Шкловского... С. 140.